

Стефан Цвейг Звездные часы человечества (новеллы)

Гений одной ночи

1792 год. Уже целых два — уже три месяца не может Национальное собрание решить вопрос: мир или война против австрийского императора и прусского короля. Сам Людовик XVI пребывает в нерешительности: он понимает, какую опасность несет ему победа революционных сил, но понимает он и опасность их поражения. Нет единого мнения и у партий. Жирондисты, желая удержать в своих руках власть, рвутся к войне; якобинцы с Робеспьером, стремясь стать у власти, борются за мир. Напряжение с каждым днем возрастает: газеты вопят, в клубах идут бесконечные споры, все неистовей роятся слухи, и все сильнее и сильнее распаляется благодаря им общественное мнение. И потому, когда 20 апреля король Франции объявляет наконец войну, все невольно испытывают облегчение, как бывает при разрешении любого трудного вопроса. Все эти бесконечные долгие недели над Парижем тяготела давящая душу грозная атмосфера, но еще напряженнее, еще тягостнее возбуждение, царящее в пограничных городах. Ко всем бивакам уже подтянуты войска, в каждой деревне, в каждом городе снаряжаются добровольческие дружины и отряды Национальной гвардии; повсюду возводятся укрепления, и прежде всего в Эльзасе, где знают, что на долю этого маленького клочка французской земли, как всегда в боях между Францией и Германией, выпадет первое, решающее сражение. Здесь, на берегу Рейна, враг, противник — это не отвлеченное, расплывчатое понятие, не риторическая фигура, как в Париже, а сама осязаемая, зримая действительность; с предместного укрепления — башни собора — можно невооруженным глазом различить приближающиеся прусские полки. По ночам над холодно сверкающей в лунном свете рекой ветер несет с того берега сигналы вражеского горна, бряцанье оружия, грохот пушечных лафетов. И каждый знает: единое слово, один королевский декрет — и жерла прусских орудий извергнут гром и пламя, и возобновится тысячелетняя борьба Германии с Францией, на сей раз во имя новой свободы, с одной стороны; и во имя сохранения старого порядка — с другой.

И потому столь знаменателен день 25 апреля 1792 года, когда военная эстафета доставила из Парижа в Страсбург сообщение о том, что Франция объявила войну. Тотчас же из всех домов и переулков хлынули потоки возбужденных людей; торжественно, полк за полком, проследовал для последнего смотра на главную площадь весь городской гарнизон. Там его ожидает уже мэр Страсбурга Дитрих с трехцветной перевязью через плечо и трехцветной кокардой на шляпе, которой он размахивает, приветствуя дефилирующие войска. Фанфары и барабанная дробь призывают к тишине, и Дитрих громко зачитывает составленную на французском и немецком языках декларацию, он читает ее на всех площадях. И едва умолкают последние слова, полковой оркестр играет первый из маршей революции — Карманьолу. Это, собственно, даже не марш, а задорная, вызывающе-насмешливая танцевальная песенка, но мерный звякающий шаг придает ей ритм походного марша. Толпа снова растекается по домам и переулкам, повсюду разнося охвативший ее энтузиазм; в кафе, в клубах произносят зажигательные речи и раздают прокламации. «К оружию, граждане! Вперед, сыны отчизны! Мы никогда не склоним выи!» Такими и подобными призывами начинаются все речи и прокламации, и повсюду, во всех речах, во всех газетах, на всех плакатах, устами всех граждан повторяются эти боевые, звучные лозунги: «К оружию, граждане! Дрожите, коронованные тираны! Вперед, свобода дорогая!» И слыша эти пламенные слова, ликующие толпы снова и снова подхватывают их.

При объявлении войны на площадях и улицах всегда ликует толпа; но в эти ее часы всеобщего ликования слышны и другие, осторожные голоса; объявление войны пробуждает страх и заботу, которые, однако, притаились в робком молчании либо шепчут чуть слышно по темным углам. Всегда и повсюду есть матери; а не убьют ли чужие солдаты моего сына? — думают они; везде есть крестьяне, которым дороги их домишки, земля, имущество, скот,

урожаи; так не будут ли их жилища разграблены, а нивы истоптаны озверелыми полчищами? Не будут ли напитаны кровью их пашни? Но мэр города Страсбурга, барон Фридрих Дитрих, хотя он и аристократ, как лучшие представители французской аристократии, всей душой предан делу новой свободы; он желает слышать лишь громкие, уверенно звучащие голоса надежды, и потому он превращает день объявления войны в народный праздник. С трехцветной перевязью через плечо спешит он с собрания на собрание, воодушевляя народ. Он приказывает раздать выступающим в поход солдатам вино и дополнительные пайки, а вечером устраивает в своем просторном особняке на Плас де Бройльи прощальный вечер для генералов, офицеров и высших административных лиц, и царящее на нем воодушевление заранее превращает его в празднество победы. Генералы, как вообще все генералы на свете, твердо уверены в том, что победят; они играют на этом вечере роль почетных председателей, а молодые офицеры, которые видят в войне весь смысл своей жизни, свободно делятся мнениями, так и подзадоривая друг друга. Они размахивают шпагами, обнимаются, провозглашают тосты и, подогретые добрым вином, произносят все более и более пылкие речи. И в речах этих вновь повторяются зажигательные лозунги газет и прокламаций: «К оружию, граждане! Вперед, плечом к плечу! Пусть дрожат коронованные тираны, пронесем наши знамена над Европой! Священна к родине любовь!» Весь народ, вся страна, сплоченная верой в победу, общим стремлением бороться за свободу, жаждет в такие моменты слиться воедино.

И вот в разгар речей и тостов барон Дитрих обращается к сидящему возле него молоденькому капитану инженерных войск по имени Руже. Он вспомнил, что этот славный — не то чтобы красавец, но весьма симпатичный офицерик — полгода тому назад написал в честь провозглашения конституции неплохой гимн свободе, тогда же переложенный для оркестра полковым музыкантом Плейелем. Вещица оказалась мелодичной, военная хоровая капелла разучила ее, и она была успешно исполнена в сопровождении оркестра на главной площади города. Не устроить ли такое же торжество и по случаю объявления войны и выступления войск в поход? Барон Дитрих небрежным тоном, как обычно просят добрых знакомых о каком-нибудь пустячном одолжении, спрашивает капитана Руже (кстати говоря, этот капитан без каких бы то ни было оснований присвоил дворянский титул и носит фамилию Руже де Лиль), не воспользуется ли он патриотическим подъемом, чтобы сочинить походную песню для Рейнской армии, которая завтра уходит сражаться с врагом.

Руже — маленький, скромный человек он: никогда не мнил себя великим художником — стихи его никто не печатает, а оперы отвергают все театры, но он знает, что стихи на случай ему удаются. Желая угодить высокому должностному лицу и другу, он соглашается. Хорошо, он попробует. — Браво, Руже! — Сидящий напротив генерал пьет за его здоровье и велит, как только песня будет готова, тотчас же прислать ее на поле сражения — пусть это будет что-нибудь вроде окрыляющего шаг патриотического марша. Рейнской армии в самом деле нужна такая песня. Между тем кто-то уже произносит новую речь. Снова тосты, звон бокалов, шум. Могучая волна всеобщего воодушевления поглотила случайный краткий разговор. Все восторженней и громче звучат голоса, все более бурной становится пирушка, и лишь далеко за полночь покидают гости дом мэра.

Глубокая ночь. Кончился столь знаменательный для Страсбурга день 25 апреля, день объявления войны, — вернее, уже наступило 26 апреля. Все дома окутаны мраком, но мрак обманчив — в нем нет ночного покоя, город возбужден. Солдаты в казармах готовятся к походу, а во многих домах с закрытыми ставнями более осторожные из граждан, быть может, уже собирают пожитки, готовясь к бегству. По улицам маршируют взводы пехотинцев; то проскачет, цокая копытами, конный вестовой, то прогрехочут по мостовой пушки, и все время раздается монотонная переключка часовых. Враг слишком близок: слишком взволнована и встревожена душа города, чтобы он мог уснуть в столь решающие мгновения.

Необычайно взволнован и Руже, добравшийся наконец по винтовой лестнице до скромной своей комнатухи в доме 126 на Гранд Рю. Он не забыл обещания поскорей сочинить для Рейнской армии походный марш. Он беспокойно расхаживает из угла в угол по тесной комнате. Как начать? Как начать? В ушах его все еще звучит хаотическая смесь пламенных воззваний,

речей, тостов. «К оружию, граждане!.. Вперед, сыны свободы!.. Раздавим черную силу тирании!..» Но вспоминаются ему и другие, подслушанные мимоходом слова: то голоса женщин, дрожащих за жизнь сыновей, голоса крестьян, боящихся, что поля их будут растоптаны вражескими полчищами и политы кровью. Он берет перо и почти бессознательно записывает первые две строки; это лишь отзвук, эхо, повторение слышанных им воззваний:

Вперед, сыны отчизны милой!
Мгновенье славы настает!

Он перечитывает и сам удивляется: как раз то, что нужно. Начало есть. Теперь подобрать бы подходящий ритм, мелодию. Руже вынимает из шкафа скрипку и проводит смычком по струнам. И — о чудо! — с первых же тактов ему удается найти мотив. Он снова хватается за перо и пишет, увлекаемый все дальше какой-то внезапно овладевшей им неведомой силой. И вдруг все приходит в гармонию: все порожденные этим днем чувства, все слышанные на улице и банкете слова, ненависть к тиранам, тревога за родину, вера в победу, любовь к свободе. Ему даже не приходится сочинять, придумывать, он лишь рифмует, облекает в ритм мелодии переходившие сегодня, в этот знаменательный день, из уст в уста слова, и он выразил, пропел, рассказал в своей песне все, что перечувствовал в тот день весь французский народ. Не надо ему сочинять и мелодию, сквозь закрытые ставни в комнату проникает ритм улицы, ритм этой тревожной ночи, гневный и вызывающий; его отбивают шаги марширующих солдат, грохот пушечных лафетов. Быть может, и слышит-то его не сам он, Руже, чутким своим слухом, а дух времени, на одну только ночь вселившийся в брентную оболочку человека, ловит этот ритм. Все покорнее подчиняется мелодия ликующему и словно молотом отбиваемому такту, который выстукивает сердце всего французского народа. Словно под чью-то диктовку, поспешнее и поспешнее записывает Руже слова и ноты — он охвачен бурным порывом, какого доселе не ведала его мелкая мещанская душа. Вся экзальтация, все вдохновение, не присущие ему, нет, а лишь чудесно завладевшие его душой, сосредоточились в единой точке и могучим взрывом вознесли жалкого дилетанта на колоссальную высоту над его скромным дарованием, словно яркую, сверкающую ракету метнули до самых звезд. На одну только ночь суждено капитану Руже де Лилю стать братом бессмертных; первые две строки песни, составленные из готовых фраз, из лозунгов, почерпнутых на улице и в газетах, дают толчок творческой мысли, и вот появляется строфа, слова которой столь же вечны и непреходящи, как и мелодия:

Вперед, плечом к плечу шагая!
Священна к родине любовь.
Вперед, свобода дорогая,
Одушевляй нас вновь и вновь.

Еще несколько строк — и бессмертная песня, рожденная единым порывом вдохновения, в совершенстве сочетающая слова и мелодию, закончена до рассвета. Руже гасит свечу и бросается на постель. Какая-то сила, он и сам не знает какая, вознесла его до неведомых ему высот духовного озарения, а теперь та же сила повергла в тупое изнеможение. Он спит непробудным сном, похожим на смерть. Да так оно и есть: в нем снова умер творец, поэт, гений. Но зато на столе, целиком отделившись от спящего, который создал в порыве истинно святого вдохновения это чудо, лежит законченный труд. Едва ли за всю долгую историю человечества был другой случай, когда бы слова и звуки столь же быстро и одновременно стали песней.

Но вот колокола древнего собора возвещают, как и всегда, наступление утра. Время от времени ветер доносит с того берега Рейна звуки залпов — началась первая перестрелка. Руже просыпается, с трудом выбираясь из глубин мертвого сна. Он смутно чувствует: что-то произошло, произошло с ним, оставив по себе только слабое воспоминание. И вдруг он замечает на столе исписанный листок. Стихи? Но когда же я их сочинил? Музыка? Ноты,

набросанные моей рукой? Но когда же я это написал? Ах, да! Обещанная вчера другу Дитриху походная песня для Рейнской армии! Руже пробегает глазами стихи, мычит про себя мотив. Но, как всякий автор только что созданного произведения, чувствует лишь полную неуверенность. Рядом с ним живет его товарищ по полку. Руже спешит показать и спеть ему свою песню. Тому нравится, он предлагает лишь несколько небольших поправок. Эта первая похвала вселяет в Руже уверенность. Сгорая от авторского нетерпения и гордясь, что так быстро выполнил обещанное, он мчится к мэру и застаёт Дитриха на утренней прогулке; расхаживая по саду, он сочиняет новую речь. Как! Уже готово? Ну что ж, послушаем. Оба идут в гостиную; Дитрих садится за клавесин, Руже поет. Привлеченная необычной в столь ранний час музыкой, приходит супруга мэра. Она обещает переписать песенку, размножить ее и, как истая музыкантша, вызывается написать аккомпанемент, чтобы сегодня же вечером можно было исполнить эту новую песню, вместе со многими другими, перед друзьями дома. Мэр, который гордится своим довольно приятным тенорком, берется выучить ее наизусть; и вот 26 апреля, то есть вечером того же дня, на заре которого были написаны слова и музыка песни, она впервые исполняется в гостиной мэра города Страсбурга перед случайными слушателями.

Вероятно, слушатели дружески аплодировали автору и не скупилась на любезные комплименты. Но, разумеется, ни у кого из гостей особняка на главной площади Страсбурга не мелькнуло даже малейшего предчувствия, что в их бранный мир впорхнула на незримых крылах бессмертная мелодия. Редко случается, чтобы современники великих людей и великих творений сразу же постигали все их значение; примером может служить письмо супруги мэра своему брату, где это свершившееся чудо гениальности низведено до уровня банального эпизода из светской жизни: «Ты же знаешь, мы часто принимаем гостей, и поэтому, чтобы внести разнообразие в наши вечера, вечно приходится что-то придумывать. Вот мужу и пришла мысль заказать песню по случаю объявления войны. Некий Руже де Лиль, капитан инженерного корпуса, славный молодой человек, поэт и композитор, очень быстро сочинил слова и музыку походной песни. Муле, у которого приятный тенор, тут же спел ее, песенка очень мила, в ней есть что-то своеобразное. Это Глюк, только гораздо лучше и живее. Пригодился и мой талант: я сделала оркестровку и написала партитуру для клавира и других инструментов, так что на мою долю выпало немало труда. Вечером песня была исполнена у нас в гостиной к большому удовольствию всех присутствующих».

«К большому удовольствию всех присутствующих» — каким холодом дышат для нас эти слова! Но ведь при первом исполнении Марсельеза и не могла возбудить иных чувств, кроме дружеского сочувствия и одобрения, ибо она не могла еще предстать во всей своей силе. Марсельеза не камерное произведение для приятного тенора и предназначена отнюдь не для того, чтобы исполняться в провинциальной гостиной одним-единственным певцом между какой-нибудь итальянской арией и романсом. Песня, волнующий, упругий и ударный ритм которой рожден призывом:

«К оружию, граждане!» — обращение к народу, к толпе, и единственный достойный ее аккомпанемент — звон оружия, звуки фанфар и поступь марширующих полков. Не для равнодушных, удобно расположившихся гостей создана эта песня, а для единомышленников, для товарищей по борьбе. И петь ее должен не одинокий голос, тенор или сопрано, а тысячи людских голосов, ибо это походный марш, гимн победы, похоронный марш, песнь отчизны, национальный гимн целого народа. Всю эту многообразную, вдохновляющую силу зажжет в песне Руже де Лили вдохновение, подобное тому, что породило ее. А пока ее слова и мелодия, в их волшебном созвучии, не проникли еще в душу нации; армия не познала еще в ней своего походного марша, песни победы, а революция — бессмертного пеона, гимна своей славы.

Да и сам Руже де Лиль, с которым произошло это чудо, не больше других понимает значение того, что он создал в лунатическом состоянии под чарами некоего изменчивого духа. Этот симпатичный дилетант от души рад аплодисментам и любезным похвалам. С мелким тщеславием маленького человека он стремится до конца использовать свой маленький успех в маленьком провинциальном кругу. Он поет новую песню своим друзьям в кофейнях, заказывает с нее рукописные копии и посылает их генералам Рейнской армии. Тем временем по

приказу мэра и рекомендациям военного начальства страсбургский полковой оркестр Национальной гвардии разучивает «Походную песню Рейнской армии», и четыре дня спустя, при выступлении войск, исполняет ее на главной площади города. Патриотически настроенный издатель вызывается напечатать ее, и она выходит с почтительным посвящением Руже де Лилия его начальнику, генералу Люкнеру. Никто из генералов и не думает, однако, вводить у себя при походе новый марш: очевидно, и этой песне Руже де Лилия, подобно всем предшествующим ей произведениям, суждено ограничиться салонным успехом одного вечера, остаться эпизодом провинциальной жизни, обреченным на скорое забвение.

Но никогда живая сила, вложенная в творение мастера, не даст надолго упрятать себя под замок. Творение могут на время забыть, оно может быть запрещено, даже похоронено, и все же стихийная сила, живущая в нем, одержит победу над преходящим. Месяц, два месяца о «Походной песне Рейнской армии» ни слуху ни духу. Печатные и рукописные экземпляры ее валяются где-нибудь или ходят по рукам равнодушных людей. Но достаточно и того, если вдохновенный труд воодушевит хотя бы одного-единственного человека, ибо подлинное воодушевление всегда плодотворно. 22 июня на противоположном конце Франции, в Марселе, клуб «Друзей конституции» дает банкет в честь выступающих в поход добровольцев. За длинными столами сидят пятьсот пылких юношей в новеньких мундирах Национальной гвардии. Здесь царит то же лихорадочное оживление, что и на пирушке в Страсбурге 25 апреля, но еще более страстное и бурное благодаря южному темпераменту марсельцев и вместе с тем не столь крикливо победоносное, как тогда, в первые часы по объявлении войны. Ибо, вопреки хвастливым заверениям генералов, что французские революционные войска легко переправятся через Рейн и повсюду будут встречены с распростертыми объятиями, этого отнюдь не произошло. Напротив, неприятель глубоко вклинился в пределы Франции, он угрожает ее независимости, свобода в опасности.

В разгар банкета один из юношей — имя его Мирер, он студент-медик университета в Монпелье — стучит по своему бокалу и встает. Все умолкают и глядят на него, ожидая речи, тоста. Но вместо этого юноша, подняв руку, запекает песню, какую-то совсем новую, незнакомую им и неведомо как попавшую в его руки песню, которая начинается словами: «Вперед, сыны отчизны милой!» И вдруг, словно искра попала в бочку с порохом, вспыхнуло пламя: чувство соприкоснулось с чувством извечные полюсы человеческой воли. Все эти выступающие завтра в поход юноши жаждут сразиться за дело свободы, готовы умереть за отечество; в словах песни они услышали выражение своих самых заветных желаний, самых сокровенных дум; ее ритм неудержимо захватывает их единым восторженным порывом воодушевления. Каждая строфа сопровождается ликующими возгласами, песня исполняется еще раз, все уже запомнили ее мотив и, повскакав с мест, с поднятыми бокалами громовыми голосами вторят припеву: «К оружию, граждане! Ровняй военный строй!» На улице под окнами собрались любопытные, желая послушать, что это здесь поют с таким воодушевлением, и вот они тоже подхватывают припев, а на другой день песню распевает уже десятки тысяч людей. Она печатается новым изданием, и когда 2 июля пятьсот добровольцев покидают Марсель, вместе с ними выходит оттуда и песня. Отныне всякий раз, когда люди устанут шагать по большим дорогам и силы их начнут сдавать, стоит кому-нибудь затянуть новый гимн, и его бодрящий, подхлестывающий ритм придает шагающим новую энергию. Когда они проходят по деревне и отовсюду сбегаются крестьяне поглазеть на солдат, марсельские добровольцы запевают ее дружным хором. Это их песня: не зная, кем и когда она была написана, не зная и того, что она предназначалась для Рейнской армии, они сделали ее гимном своего батальона. Она их боевое знамя, знамя их жизни и смерти, в своем неудержимом стремлении вперед они жаждут пронести ее над миром.

Париж — вот первая победа Марсельезы, ибо так будет вскоре называться гимн, сочиненный Руже де Лилем. 30 июля батальон марсельских добровольцев со своим знаменем и песней шагает по предместьям города. На улицах толпятся тысячи и тысячи парижан, желая оказать солдатам почетную встречу; и когда пятьсот человек, маршируя по городу, дружно, в один голос поют в такт своим шагам песню, толпа настораживается. Что это за песня? Какая

чудесная, окрыляющая шаг мелодия! Какой торжественный, точно звуки фанфар, припев: «К оружию, граждане!» Эти слова, сопровождаемые раскатистой барабанной дробью, проникают во все сердца! Через два-три часа их поют уже во всех концах Парижа. Забыта Карманьола, забыты все истасканные куплеты и старые марши. Революция обрела в Марсельезе свой голос, и революция приняла ее как свой гимн.

Победоносное шествие Марсельезы неудержимо, оно подобно лавине. Ее поют на банкетах, в клубах, в театрах и даже в церквях после *Te Deum*, а вскоре и вместо этого псалма. Каких-нибудь два-три месяца, и Марсельеза становится гимном целого народа, походной песней всей армии. Серван, первый военный министр французской республики, сумел почувствовать огромную окрыляющую силу этой единственной в своем роде национальной походной песни. Он издает приказ срочно разослать сто тысяч экземпляров Марсельезы по всем музыкантским командам, и два-три дня спустя песня безвестного автора получает более широкую известность, чем все произведения Расина, Мольера и Вольтера. Ни одно торжество не заканчивается без Марсельезы, ни одна битва не начинается, прежде чем полковой оркестр не проиграет этот марш свободы. В сражениях при Жемаппе и Нервиндене под его звуки строятся для атаки французские войска, и вражеские генералы, подбадривающие своих солдат по старому рецепту двойной порцией водки, с ужасом видят, что им нечего противопоставить всеокрушающей силе этой «страшной» песни, которая, когда ее хором поют тысячи голосов, буйной и гулкой волной бьет по рядам их солдат. Всюду, где сражается Франция, парит Марсельеза, подобно крылатой Nike, богине победы, увлекая на смертный бой бесчисленное множество людей.

А между тем в маленьком гарнизоне Хюнинга сидит никому на свете не известный капитан инженерных войск Руже де Лиль, прилежно вычерчивая планы траншей и укреплений. Быть может, он успел уже и забыть «Походную песню Рейнской армии», созданную им в ту давно минувшую ночь на 26 апреля 1792 года; по крайней мере когда он читает в газетах о новом гимне, о новой походной песне, покорившей Париж, ему и в голову не приходит, что эта победоносная «Песня марсельцев», каждый ее такт, каждое слово ее и есть то самое чудо, которое совершилось в нем, произошло с ним далекой апрельской ночью.

Злая насмешка судьбы: эта до небес звучащая, к звездам возносящая мелодия не вздымает на своих крыльях единственного человека — именно того, кто ее создал. Никто в целой Франции и не думает о капитане инженерных войск Руже де Лиле, и вся огромная, небывалая для песни слава достается самой песне: даже слабая тень ее не падает на автора. Имя его не печатается на текстах Марсельезы, и сильные мира сего, верно, так и не вспомнили бы о нем, не возбудил он сам их враждебного к себе внимания. Ибо — и это гениальный парадокс, который может изобрести только история, — автор гимна революции вовсе не революционер; более того: он, как никто другой способствовавший своей бессмертной песней делу революции, готов отдать все свои силы, чтобы сдержать ее. И когда марсельцы и толпы парижан с его песней на устах громят Тюильри и свергают короля, Руже де Лиль отворачивается от революции. Он отказывается присягнуть Республике и предпочитает выйти в отставку, чем служить якобинцам. Он не желает вкладывать новый смысл в слова своей песни «свобода дорогая»; для него деятели Конвента то же, что коронованные тираны по ту сторону границы. Когда по приказу Комитета общественного спасения ведут на гильотину его друга и крестного отца Марсельезы, мэра Дитриха, генерала Люкнера, которому она посвящена, и всех офицеров-дворян, бывших первыми ее слушателями, Руже дает волю своему озлоблению; и вот — ирония судьбы! — певца революции бросают в тюрьму как контрреволюционера, судят его за измену родине. И только 9 термидора, когда с падением Робеспьера распахнулись двери темниц, спасло французскую революцию от нелепости — отправить под «национальную бритву»¹ творца своей бессмертной песни.

И все же то была бы героическая смерть, а не прозябание в полной безвестности, на

¹ Имеется в виду гильотина

которое он обречен отныне. Больше чем на сорок лет, на тысячи и тысячи долгих дней суждено злополучному Руже пережить свой единственный в жизни подлинно творческий час. У него отняли мундир, лишили его пенсии; стихи, оперы, пьесы, которые он пишет, никто не печатает, их нигде не ставят. Судьба не прощает дилетанту его вторжения в ряды бессмертных; мелкому человеку приходится поддерживать свое мелкое существование всякого рода мелкими и далеко не всегда чистыми делишками. Карно и позднее Бонапарт пытаются из сострадания помочь ему. Однако с той злосчастной ночи что-то безнадежно надломилось в его душе; она отравлена чудовищной жестокостью случая, дозволившего ему три часа побыть гением, богом, а затем с презрением отшвырнувшего его к прежнему ничтожеству. Руже ссорится со всеми властями: Бонапарту, который хотел ему помочь, он пишет дерзкие патетические письма и во всеуслышание хвастает, что голосовал против него. Запутавшись в делах, Руже пускается на подозрительные спекуляции, попадает даже в долговую тюрьму Сент-Пелажи за неуплату по векселю. Всем досадивший, осаждаемый кредиторами, выслеживаемый полицией, он забирается под конец куда-то в провинциальную глушь и оттуда, точно из могилы, всеми покинутый и забытый, наблюдает за судьбой своей бессмертной песни. Ему довелось еще быть свидетелем того, как Марсельеза вместе с победоносными войсками Наполеона вихрем промчалась по всем странам Европы, после чего Наполеон, едва став императором, вычеркнул эту песню, как слишком революционную, из программ всех официальных торжеств, а после Реставрации Бурбоны и совсем запретили ее. И когда по прошествии целого человеческого века, в июльскую революцию 1830 года, слова и мелодия песни со всей былой силой вновь прозвучали на баррикадах Парижа и король-буржуа Луи-Филипп пожаловал ее автору крохотную пенсию, озлобленный старик не испытывает уже ничего, кроме удивления. Заброшенному в своем одиночестве человеку кажется чудом, что о нем кто-то вдруг вспомнил; но и эта память недолговечна, и когда в 1836 году семидесятишестилетний старец умер в Шуази-ле-Руа, никто уже не помнил его имени.

И лишь во время мировой войны, когда Марсельеза, давно уже ставшая государственным гимном, вновь воинственно гремела на всех фронтах Франции, последовал приказ перенести прах маленького капитана Руже де Лиля в Дом Инвалидов и похоронить его рядом с прахом маленького капрала Бонапарта, наконец-то неведомый миру творец бессмертной песни мог отдохнуть в усыпальнице славы своей родины от горького разочарования, что лишь единственную ночь довелось ему быть поэтом.

Невозвратимое мгновение

Судьбу влечет к могущественным и властным. Годами она рабски покорствуется своему избраннику — Цезарю, Александру, Наполеону, ибо она любит натуры стихийные, подобные ей самой — непостижимой стихии.

Но иногда — хотя во все эпохи лишь изредка — она вдруг по странной прихоти бросается в объятия посредственности. Иногда — и это самые поразительные мгновения в мировой истории — нить судьбы на одну-единственную трепетную минуту попадает в руки ничтожества. И эти люди обычно испытывают не радость, а страх перед ответственностью, вовлекающей их в героическую мировую игру, и почти всегда они выпускают из дрожащих рук нечаянно доставшуюся им судьбу. Мало кому из них дано схватиться за счастливый случай и возвеличить себя вместе с ним. Ибо лишь на миг великое снисходит до ничтожества, и кто упустит этот миг, для того он потерян безвозвратно.

ГРУШИ

В разгар балов, любовных интриг, козней и препирательств Венского конгресса словно пушечный выстрел грянула весть о том, что Наполеон — плененный лев — вырвался из своей клетки на Эльбе; и уже летит эстафета за эстафетой: он занял Лион, изгнал короля, полки с развернутыми знаменами переходят на его сторону, он в Париже, в Тюильри — напрасна была

победа под Лейпцигом, напрасны двадцать лет кровавой войны. Точно схваченные чьей-то когтистой лапой, сбиваются в кучу только что пререкавшиеся и ссорившиеся министры; спешно стягиваются английские, прусские, австрийские, русские войска, дабы вторично и окончательно сокрушить узурпатора; никогда еще Европа наследственных королей и императоров не была так единодушна, как в этот час смертельного испуга. С севера на Францию двинулся Веллингтон, ему на помощь идет прусская армия под предводительством Блюхера, на Рейне готовится к наступлению Шварценберг, и в качестве резерва медленно и тяжело шагают через Германию русские полки.

Наполеон единым взглядом охватывает грозящую ему опасность. Он знает, что нельзя ждать, пока соберется вся свора. Он должен их разъединить, должен напасть на каждого в отдельности — на пруссаков, англичан, австрийцев — раньше, чем они станут европейской армией и разгромят его империю. Он должен спешить, пока не поднялся ропот внутри страны; должен добиться победы раньше, чем республиканцы окрепнут и соединятся с роялистами, раньше, чем двуличный неуловимый Фуше в союзе с Талейраном — своим противником и двойником — вонзит ему нож в спину. Он должен, пользуясь воодушевлением, охватившим его армию, одним стремительным натиском разбить врагов. Каждый упущенный день означает урон, каждый час усугубляет опасность. И он немедленно бросает жребий войны на самое кровавое поле битвы Европы — в Бельгию. 15 июня в три часа утра авангард великой и ныне единственной наполеоновской армии переходит границу. 16-го, у Линьи, она отбрасывает прусскую армию. Это первый удар лапы вырвавшегося на свободу льва — сокрушительный, но не смертельный. Побежденная, но не уничтоженная прусская армия отходит к Брюсселю.

Наполеон готовит второй удар, на этот раз против Веллингтона. Ни минуты передышки не может он позволить ни себе, ни врагам, ибо день ото дня растут их силы, а страна позади него, обескровленный, ропщущий французский народ должен быть оглушен дурманом победных сводок. Уже 17-го он подступает со всей своей армией к Катр-Бра, где укрепился холодный, расчетливый противник — Веллингтон. Никогда распоряжения Наполеона не были предусмотрительнее, его военные приказы яснее, чем в тот день: он не только готовится к атаке, он предвидит и опасность ее: разбитая им, но не уничтоженная армия Блюхера может соединиться с армией Веллингтона. Чтобы предотвратить это, он отделяет часть своей армии — она должна преследовать по пятам прусские войска и помешать им соединиться с англичанами.

Командование этой частью армии он вверяет маршалу Груши. Груши — человек заурядный, но храбрый, усердный, честный, надежный, испытанный в боях начальник кавалерии, но не больше, чем начальник кавалерии. Это не отважный, горячий предводитель конницы, как Мюрат, не стратег, как Сен-Сир и Бертье, не герой, как Ней. Его грудь не прикрыта кирасой, его имя не окружено легендой, в нем нет ни одной отличительной черты, которая принесла бы ему славу и законное место в героическом мифе наполеоновской эры; только злополучием своим, своей неудачей прославился он. Двадцать лет он сражался во всех битвах, от Испании до России, от Нидерландов до Италии, медленно поднимаясь от чина к чину, пока не достиг звания маршала, не без заслуг, но и без подвигов. Пули австрийцев, солнце Египта, кинжалы арабов, морозы России устранили с его пути предшественников: Дезе при Маренго, Клебера в Каире, Ланна при Ваграме; дорогу к высшему сану он не проложил себе сам — ее расчистили для него двадцать лет войны.

Что Груши не герой и не стратег, а только надежный, преданный, храбрый и рассудительный командир, — Наполеону хорошо известно. Но половина его маршалов в могиле, остальные не желают покидать свои поместья, по горло сытые войной, и он вынужден доверить посредственному полководцу решающее, ответственное дело.

17 июня в одиннадцать часов утра — на завтра после победы у Линьи, в канун Ватерлоо — Наполеон впервые поручает маршалу Груши самостоятельное командование. На одно мгновение, на один день скромный Груши покидает свое место в военной иерархии, чтобы войти в мировую историю. Только на один миг, но какой миг! Приказ Наполеона ясен. В то время как сам он поведет наступление на англичан, Груши с одной третью армии должен преследовать пруссаков. На первый взгляд очень несложное задание, четкое и прямое, но

вместе с тем растяжимое и обоюдоострое, как меч. Ибо Груши вменяется в обязанность во время операции неукоснительно держать связь с главными силами армии.

Маршал нерешительно принимает поручение. Он не привык действовать самостоятельно; человек осторожный, без инициативы, он обретает уверенность лишь в тех случаях, когда гениальная зоркость императора указывает ему цель. Помимо того, он чувствует за спиной недовольство своих генералов и — кто знает? — быть может, зловещий шум крыльев надвигающейся судьбы. Только близость главной квартиры несколько успокаивает его: всего три часа форсированного марша отделяют его армию от армии императора.

Под проливным дождем Груши выступает. Медленно шагают его солдаты по вязкой, глинистой дороге вслед за пруссаками или — по крайней мере — по тому направлению, где они предполагают найти войска Блюхера.

НОЧЬ В КАЙУ

Северный дождь льет непрерывно. Словно промокшее стадо, подходят в темноте солдаты Наполеона, таща на подошвах фунта по два грязя; нигде нет пристанища — ни дома, ни крова. Солома так отсырела, что не ляжешь на нее, поэтому солдаты спят сидя, прижимаясь спинами друг к другу, по десять — пятнадцать человек, под проливным дождем. Нет отдыха и императору. Лихорадочное возбуждение гонит его с места на место; рекогносцировкам мешает непроглядное ненастье, лазутчики приносят лишь путаные сообщения. Он еще не знает, примет ли Веллингтон бой; нет также известий о прусской армии от Груши. И в час ночи, пренебрегая хлещущим ливнем, он сам идет вдоль аванпостов, приближаясь на расстояние пушечного выстрела к английским бивакам, где то тут, то там светятся в тумане тусклые дымные огоньки, и составляет план сражения. Лишь на рассвете возвращается он в Кайу, в свою убогую штаб-квартиру, где находит первые депеши Груши: смутные сведения об отступающих пруссаках, но вместе с тем и успокоительное обещание продолжать погоню. Постепенно дождь стихает. Император нетерпеливо шагает из угла в угол, поглядывая в окно на желтеющие дали, — не прояснился ли наконец горизонт, не настало ли время принять решение.

В пять часов утра — дождь уже прекратился — все сомнения рассеиваются. Он отдает приказ: к девяти часам всей армии построиться и быть готовой к атаке. Ординарцы скачут по всем направлениям. Уже барабаны бьют сбор. И только после этого Наполеон бросается на походную кровать для двухчасового сна.

УТРО В ВАТЕРЛОО

Девять часов утра. Но еще не все полки в сборе. Размякшая от трехдневного ливня земля затрудняет передвижение и задерживает подходящую артиллерию. Дует резкий ветер, лишь постепенно проглядывает солнце; но это не солнце Аустерлица, яркое, лучистое, сулящее счастье, а лишь уныло мерцающий северный отсвет. Наконец полки построены, и перед началом битвы Наполеон еще раз верхом на своей белой кобыле объезжает фронт. Орлы на знаменах склоняются, словно под буйным ветром, кавалеристы воинственно взмахивают саблями, пехота в знак приветствия подымает на штыках свои медвежьи шапки. Исступленно гремят барабаны, неистово-радостно встречают полководца трубы, но весь этот фейерверк звуков покрывает раскатистый, дружный, ликующий крик семидесятитысячной армии: «Vive l'Empereur!»²

Ни один парад за все двадцать лет правления Наполеона не был величественнее и торжественнее этого — последнего — смотра. Едва утихли крики, в одиннадцать часов — с опозданием на два часа, роковым опозданием, — канонирам отдан приказ бить картечью по красным мундирам у подножия холма. И вот Ней, «храбрый из храбрых», двинул вперед

² Да здравствует император! (франц.)

пехоту. Настал решающий час для Наполеона. Несчетное число раз описана эта битва, и все же не устаешь следить за ее перипетиями, перечитывая рассказ о ней Вальтер Скотта или описание отдельных эпизодов у Стендаля. Она равно знаменательна и многообразна, откуда ни смотреть на нее — издали или вблизи, с генеральского холмика или кирасирского седла. Эта битва — шедевр драматического нагнетания с непрерывной сменой страхов и надежд, с развязкой, в которой все разрешается конечной катастрофой, образец истинной трагедии, ибо здесь судьба героя предопределила судьбы Европы, и фантастический фейерверк наполеоновской эпопеи, прежде чем навеки угаснуть, низвергаясь с высоты, еще раз ракетой взвился к небесам.

С одиннадцати до часу французские полки штурмуют высоты, занимают деревни и позиции, снова отступают и снова идут в атаку. Уже десять тысяч тел покрывают глинистую мокрую землю холмистой местности, но еще ничего не достигнуто, кроме изнеможения, ни той, ни другой стороной. Обе армии утомлены, оба главнокомандующих встревожены. Оба знают, что победит тот, кто первый получит подкрепление — Веллингтон от Блюхера, Наполеон от Груши. Наполеон то и дело хватается за подзорную трубу, посылает ординарцев; если его маршал подоспеет вовремя, над Францией еще раз засияет солнце Аустерлица

ОШИБКА ГРУШИ

Груши, невольный вершитель судьбы Наполеона, по его приказу накануне вечером выступил в указанном направлении. Дождь перестал. Беззаботно, словно в мирной стране, шагают роты, вчера впервые понюхавшие пороха; все еще не видно неприятеля, нет и следа разбитой прусской армии.

Вдруг, в то время как маршал наскоро завтракает в фермерском доме, земля слегка сотрясается под ногами. Все прислушиваются. Снова и снова, глухо и уже замирая, докатывается грохот: это пушки, далекий орудийный огонь, впрочем, не такой и далекий, самое большее — на расстоянии трехчасового перехода. Несколько офицеров по обычаю индейцев припадают ухом к земле, чтобы уловить направление. Непрерывно доносится глухой далекий гул. Это канонада у Мон-Сен-Жана, начало Ватерлоо. Груши созывает совет. Горячо, пламенно требует Жерар, его помощник: «Il faut marcher au canon» — вперед, к месту огня! Другой офицер его поддерживает: туда, скорее туда! Все понимают, что император столкнулся с англичанами и ожесточенный бой в разгаре. Груши колеблется. Приученный к повиновению, он боязливо придерживается предначертаний, приказа императора — преследовать отступающих пруссаков. Жерар выходит из себя, видя нерешительность маршала: «Marchez au canon!»³ — командой, не просьбой звучит это требование подчиненного в присутствии двадцати человек — военных и штатских. Груши недоволен. Он повторяет более резко и строго, что обязан в точности выполнять свой долг, пока император сам не изменит приказа. Офицеры разочарованы, и пушки грохочут среди гневного молчания.

Жерар делает последнюю отчаянную попытку: он умоляет разрешить ему хотя бы с одной дивизией и горсточкой кавалерии двинуться к полю битвы и обязуется своевременно быть на месте. Груши задумывается. Он думает одну лишь секунду.

РЕШАЮЩЕЕ МГНОВЕНИЕ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Одну секунду думает Груши, и эта секунда решает его судьбу, судьбу Наполеона и всего мира. Она предопределяет, эта единственная секунда на ферме в Вальгейме, весь ход девятнадцатого века; и вот — залог бессмертия — она медлит на устах очень честного и столь же заурядного человека, зримо и явственно трепещет в руках его, нервно комкающих злополучный приказ императора. Если бы у Груши хватило мужества, если бы он посмел ослушаться приказа, если бы он поверил в себя и в явную, насущную необходимость, —

³ Идите к месту огня! (франц.)

Франция была бы спасена. Но человек подначальный всегда следует предписаниям и не повинуется зову судьбы.

Груши энергично отвергает предложение. Нет, недопустимо еще дробить такую маленькую армию. Его задача — преследовать пруссаков, и только. Он отказывается действовать вопреки полученному приказу. Недовольные офицеры безмолвствуют. Вокруг Груши воцаряется тишина. И в этой тишине безвозвратно уходит то, чего не вернут уж ни слова, ни деяния, — уходит решающее мгновение. Победа осталась за Веллингтоном.

И полки шагают дальше. Жерар, Вандам гневно сжимают кулаки. Груши встревожен и час от часу теряет уверенность, ибо — странно, — пруссаков все еще не видно, ясно, что они свернули с брюссельской дороги. Вскоре разведчики приносят подозрительные вести: по всей видимости, отступление пруссаков обратилось в фланговый марш к полю битвы. Еще есть время прийти на помощь императору, и все нетерпеливее ждет Груши приказа вернуться. Но приказа нет. Только все глуше грохочет над содрогающейся землей далекая канонада — железный жребий Ватерлоо.

ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Между тем уже час дня. Четыре атаки отброшены, но они заметно ослабили центр Веллингтона; Наполеон готовится к решительному штурму. Он приказывает усилить артиллерию у Бель-Альянса, и, прежде чем дым орудий протянет завесу между холмами, Наполеон бросает последний взгляд на поле битвы.

И вот на северо-востоке он замечает какую-то тень, которая словно выползает из леса: свежие войска! Мгновенно все подзорные трубы обращаются в ту сторону: Груши ли это, смело преступивший приказ, чудом подоспел в решительную минуту? Нет, пленный сообщает, что это авангард генерала Блюхера, прусские полки. Впервые у императора мелькает догадка, что разбитая прусская армия избежала преследования и идет на соединение с англичанами, а треть его собственной армии без всякой пользы передвигается в пустом пространстве. Тотчас же он пишет Груши записку, приказывая во что бы то ни стало держать связь и помешать вступлению в бой пруссаков.

В то же время маршал Ней получает приказ атаковать. Веллингтон должен быть опрокинут прежде, чем подойдут пруссаки: сейчас, когда столь внезапно и резко уменьшились шансы, нужно, не колеблясь, все поставить на карту. И вот в течение нескольких часов одна за другой следуют яростные атаки, все новые и новые пехотные части вступают в бой. Они занимают разрушенные селения, отступают, и снова людской вал с ожесточением кидается на уже потрепанные каре неприятеля. Но Веллингтон все еще держится, а от Груши все еще нет известий. «Где Груши? Где застрял Груши?» — в тревоге шепчет император, глядя на приближающийся авангард пруссаков. И его генералы начинают терять терпение. Решившись силой вырвать исход битвы, маршал Ней, действуя столь же дерзновенно и отважно, сколь неуверенно действовал Груши (три лошади уже убиты под ним), бросает сразу в огонь всю французскую кавалерию. Десять тысяч кирасиров и драгун скачут навстречу смерти, врезаются в каре, сминают ряды, косят орудийную прислугу. Правда, их отбрасывают, но сила английской армии иссякает, кулак, стиснувший укрепленные холмы, начинает разжиматься. И когда поредевшая французская кавалерия отступает перед ядрами, последний резерв Наполеона — старая гвардия — твердой и медленной поступью идет на штурм высот, обладание которыми знаменует судьбу Европы.

РАЗВЯЗКА

Весь день четыреста пушек гремят с той и другой стороны. На поле битвы топот коней сливается с залпами орудий, оглушительно бьют барабаны, земля сотрясается от грохота и гула. Но на возвышении, на обоих холмах, оба военачальника настороженно ловят сквозь шум сражения более тихие звуки.

Хронометры чуть слышно, как птичье сердце, тикают в руке императора и в руке Веллингтона; оба то и дело выхватывают часы и считают минуты и секунды, поджидая последнюю, решающую помощь. Веллингтон знает, что Блюхер подходит, Наполеон надеется на Груши. Оба они исчерпали свои резервы, и победит тот, кто первым получит подкрепление. Оба смотрят в подзорную трубу на лесную опушку, где, словно легкое облако, маячит прусский авангард. Передовые разъезды или сама армия, ушедшая от преследования Груши? Уже слабеет сопротивление англичан, но и французские войска устали. Тяжело переводя дыхание, как два борца, стоят противники друг против друга, собираясь с силами для последней схватки, которая решит исход борьбы.

И вот наконец со стороны леса доносится пальба — стреляют пушки, ружья: «Enfin Grouchy!» — наконец, Груши! Наполеон вздыхает с облегчением. Уверенный, что его флангу теперь ничто не угрожает, он стягивает остатки армии и снова атакует центр Веллингтона, дабы сбить британский засов, запирающий Брюссель, взломать ворота в Европу.

Но перестрелка оказалась ошибкой: пруссаки, введенные в заблуждение неанглийской формой, открыли огонь по ганноверцам; стрельба прекращается, и беспрепятственно широким и могучим потоком выходят из лесу прусские войска. Нет, это не Груши со своими полками, это приближается Блюхер и вместе с ним — неотвратимая развязка. Весть быстро распространяется среди императорских полков, они начинают отступать — пока еще в сносном порядке. Но Веллингтон чувствует, что настала критическая минута. Он выезжает верхом на самый край столь яростно защищаемого холма, снимает шляпу и машет ею над головой, указывая на отступающего врага. Его войска тотчас понимают смысл этого торжествующего жеста. Дружно поднимаются остатки английских полков и бросаются на французов. В то же время с фланга на усталую, поредевшую армию налетает прусская кавалерия. Раздается крик, убийственное «Спасайся, кто может!». Еще несколько минут — и великая армия превращается в неудержимый, гонимый страхом поток, который все и вся, даже Наполеона, увлекает за собой. Словно в податливую воду, не встречая сопротивления, бросается неприятельская конница в этот быстро откатывающийся и широко разлившийся поток; из пены панических воплей выуживают карету Наполеона, войсковую казну и всю артиллерию; только наступление темноты спасает императору жизнь и свободу. Но тот, кто в полночь, забрызганный грязью, обессиленный, падает на стул в убогом деревенском трактире, — уже не император. Конец империи, его династии, его судьбе; нерешительность маленького, ограниченного человека разрушила то, что храбрейший, прозорливейший из людей создал за двадцать героических лет.

ВОЗВРАТ В ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Не успела английская атака разгромить армию Наполеона, как некто, доселе почти безымянный, уже мчится в экстренной почтовой карете по брюссельской дороге, из Брюсселя к морю, где его ждет корабль. Он прибывает в Лондон раньше правительственных курьеров и, пользуясь тем, что вести до столицы еще не дошли, буквально взрывает биржу; этим гениальным ходом Ротшильд основывает новую империю, новую династию.

Назавтра вся Англия узнает о победе, а в Париже верный себе предатель Фуше — о поражении; над Брюсселем и Германией разносится победный колокольный звон.

Один лишь человек на другое утро еще ничего не знает о Ватерлоо, несмотря на то, что всего четырехчасовой переход отделяет его от места трагедии: злополучный Груши, который неуклонно выполняет приказ преследовать пруссаков. Но как ни удивительно, пруссаков нигде нет, и это тревожит его. И все громче и громче гремят пушки, точно взывая о помощи. Все чувствуют, как дрожит под ними земля, и каждый выстрел отдается у них в сердце. Все знают: это не простая перестрелка разгорелась гигантская, решающая битва. В угрюмом молчании едет Груши, окруженный своими офицерами. Они больше не спорят с ним: ведь он не внял их совету.

Наконец у Вавра они натываются на единственный прусский отряд — арьергард Блюхера, и это кажется им избавлением. Как одержимые, бросаются они на неприятельские траншеи —

впереди всех Жерар; быть может, томимый мрачными предчувствиями, он ищет смерти. Пуля настигает его, он падает, раненный: тот, кто подымал голос протеста, умолк. К вечеру они занимают селение, но все догадываются, что эта маленькая победа уже бесполезна, ибо там, в той стороне, где поле битвы, внезапно все стихло. Наступила грозная, немая до ужаса, мирная гробовая тишина. И все убеждаются, что грохот орудий был все же лучше, чем эта мучительная неизвестность. Битва, видимо, закончилась, битва при Ватерлоо, о которой Груши получает наконец (увы, слишком поздно!) известие вместе с требованием Наполеона идти на подкрепление. Она кончена, гигантская битва, но за кем осталась победа?

Они ждут всю ночь. Тщетно! Вестей нет, словно великая армия забыла о них, и они, никому не нужные, бессмысленно стоят здесь, в непроницаемом мраке. Утром они снимаются с бивака и снова шагают по дорогам, смертельно усталые и уже зная наверное, что все их передвижения потеряли всякий смысл. Наконец в десять часов утра навстречу скачет офицер из главного штаба. Ему помогают сойти с седла, забрасывают вопросами. Лицо офицера искажено отчаянием, взмокшие от пота волосы прилипли к вискам, его трясет от смертельной усталости, и он едва в состоянии пробормотать несколько невнятных слов, но этих слов никто не понимает, не может, не хочет понять. Его принимают за сумасшедшего, за пьяного, ибо он говорит, что нет больше императора, нет императорской армии, Франция погибла. Но мало-помалу от него добиваются подробных сведений, и все узнают сокрушительную, убийственную правду. Груши, бледный, дрожащий, стоит, опираясь на саблю; он знает, что для него началась жизнь мученика. Но он с твердостью берет на себя всю тяжесть вины. Нерешительный и робкий подчиненный, не умевший в те знаменательные мгновения разгадать великие судьбы, теперь, лицом к лицу с близкой опасностью, становится мужественным командиром, почти героем. Он тотчас собирает всех офицеров и, со слезами гнева и печали на глазах, в кратком обращении оправдывает свои колебания и вместе с тем горько сожалеет о них.

Молча слушают его те, кто вчера еще гневался на него. Каждый мог бы его обвинить, похваляясь, что предлагал другое, лучшее решение. Но никто не осмеливается, никто не хочет этого делать. Они молчат и молчат. Безмерная скорбь заградила им уста.

И вот в этот час, упустив решающую секунду, Груши с опозданием проявляет свой недюжинный талант военачальника. Все его достоинства — благоразумие, усердие, выдержка, исполнительность — обнаруживаются с той минуты, как он опять доверяет самому себе, а не букве приказа. Окруженный в пять раз превосходящими силами неприятеля, он блестящим тактическим маневром сквозь гущу вражеских войск выводит свои полки, не потеряв ни единой пушки, ни единого солдата, и спасает для Франции, для империи остатки ее армии. Но нет императора, чтобы поблагодарить его, нет врага, чтобы бросить против них свои полки. Он опоздал, опоздал навеки. И хотя в дальнейшей жизни он возносится высоко, получает звание главнокомандующего и пэра Франции и в любой должности заслуживает всеобщее уважение твердостью и распорядительностью, ничто не может возместить ему той секунды, которая сделала его вершителем судьбы и которую он не сумел удержать.

Так страшно мстит за себя великое, неповторимое мгновение, лишь изредка выпадающее на долю смертного, если тот, кто призван по ошибке, отступает от него. Все мещанские добродетели — надежный щит от требований мирно текущих будней: осмотрительность, рвение, здравомыслие, — все они беспомощно тают в пламени одной-единственной решающей секунды, которая открывается только гению и в нем ищет свое воплощение. С презрением отталкивает она малодушного; лишь отважного возносит она огненной десницей до небес и причисляет к сонму героев.

Открытие Эльдорадо

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ НАДОЕЛА ЕВРОПА

1834 год. Американский пароход держит путь из Гавра в Нью-Йорк. На борту среди сотен искателей приключений Иоганн Август Зутер; ему тридцать один год, он родом из Рюненберга, близ Базеля, и с нетерпением ждет той минуты, когда между ним и европейскими стражами закона ляжет океан. Банкрот, вор, аферист, он, недолго думая, бросил на произвол судьбы жену и троих детей, по подложному документу добыл в Париже немного денег, и вот он уже на пути к новой жизни. 7 июля он высадился в Нью-Йорке и два года подряд занимался здесь чем придется: был упаковщиком, аптекарем, зубным врачом, торговцем всевозможными снадобьями, держателем кабачка. Наконец, несколько остепенившись, он открыл гостиницу, но вскоре продал ее и, следуя властному зову времени, отправился в Миссури. Там он стал земледельцем, сколотил за короткое время небольшое состояние и, казалось, мог бы уже зажить спокойно. Но мимо его дома бесконечной вереницей, торопясь куда-то, проходят люди — торговцы пушниной, охотники, солдаты, искатели приключений, — они идут с запада и уходят на запад, и это слово «запад» постепенно приобретает для него какую-то магическую силу. Сначала — это всем известно — простираются прерии, прерии, где пасутся огромные стада бизонов, прерии, по которым можно ехать дни и недели, не встретив ни души, лишь изредка промчатся краснокожие всадники; дальше начинаются горы, высокие, неприступные, и, наконец, та неведомая страна, Калифорния, о ней никто ничего точно не знает, а о сказочных богатствах ее рассказывают чудеса; там реки млека и меда к твоим услугам, только пожелай, — но до нее далеко, очень далеко, и добраться туда можно, лишь рискуя жизнью.

Но в жилах Иоганна Августа Зутера текла кровь авантюриста. Жить спокойно и возделывать свою землю! Нет, это не прельщало его. В 1837 году он распродал все свое добро, снарядил экспедицию — обзавелся фургонами, лошадьми, волами и, выехав из форта Индепенданс, пустился в Неведомое.

ПОХОД В КАЛИФОРНИЮ

1838 год. В фургоне, запряженном волами, по бесконечной пустынной равнине, по бескрайним степям и, наконец, через горы, навстречу Тихому океану, вместе с Зутером едут два офицера, пять миссионеров и три женщины. Через три месяца, в конце октября, они прибывают в форт Ванкувер. Офицеры покинули Зутера еще раньше, миссионеры дальше не едут, женщины умерли в пути от лишений.

Зутер остался один. Напрасно пытались удержать его здесь, в Ванкувере, напрасно предлагали ему службу; он не поддавался на уговоры, его неудержимо влекло магическое слово «Калифорния». На старом, разбитом паруснике он пересекает океан, направляется сначала к Сандвичевым островам, а потом, с огромными трудностями миновав Аляску, высаживается на побережье, на забытом богом клочке земли, именуемом Сан-Франциско. Но это не тот Сан-Франциско — город с миллионным населением, невиданно разросшийся после землетрясения, каким мы его знаем сегодня. Нет, это было жалкое рыбацкое селение, названное так миссионерами-францисканцами, даже не столица той незнакомой мексиканской провинции — Калифорнии, забытой и брошенной в одной из богатейших частей нового континента. Бесхозяйственность испанских колонизаторов сказывалась здесь во всем: не было твердой власти, то и дело вспыхивали восстания, не хватало рабочих, скота, недоставало энергичных, предприимчивых людей. Зутер нанимает лошадь и спускается в плодородную долину Сакраменто; ему достаточно было дня, чтобы убедиться в том, что здесь найдется место не только для фермы или большого ранчо, но и для целого королевства. Назавтра он является в Монтерей, в убогую столицу, представляется губернатору Альверато и излагает ему план освоения края: с ним приехало несколько полинезийцев с островов, и в дальнейшем по мере надобности он будет привозить их сюда, он готов устроить здесь поселение, основать колонию, которую он назовет Новой Гельвецией.

— Почему «Новой Гельвецией»? — спросил губернатор.

— Я швейцарец и республиканец, — ответил Зутер.

— Хорошо, делайте, что хотите, даю вам концессию на десять лет.

Вот видите, как быстро делались там дела. За тысячу миль от всякой цивилизации энергия отдельного человека значила много больше, чем в Старом Свете.

НОВАЯ ГЕЛЬВЕЦИЯ

1839 год. Вверх по берегу реки Сакраменто медленно тянется караван. Впереди верхом Иоганн Август Зутер с ружьем через плечо, за ним два-три европейца, потом сто пятьдесят полинезийцев в коротких рубашках, тридцать запряженных волами фургонов со съестными припасами, семенами, оружием, пятьдесят лошадей, сто пятьдесят мулов, коровы, овцы и, наконец, небольшой арьергард — вот и вся армия, которой предстоит завоевать Новую Гельвецию. Путь им расчищает гигантский огненный вал. Леса сжигают — это удобнее, чем вырубать их. И как только жадное пламя прокатилось по земле, они взялись за работу среди еще дымящихся деревьев. Построили склады, вырыли колодцы, засеяли поля, которые не требовали вспашки, сделали загоны для несчетных стад. Из соседних мест, из покинутых миссионерами колоний постепенно прибывает пополнение.

Успех был гигантский. Первый же урожай сняли сам-шест. Амбары ломились от зерна, стада насчитывали уже тысячи голов, и, хотя подчас бывало трудно, — много сил отнимали походы против туземцев, снова и снова вторгавшихся в колонию, — Новая Гельвеция превратилась в цветущий уголок земли. Прокладываются каналы, строятся мельницы, открываются фактории, по рекам вверх и вниз снуют суда, Зутер снабжает не только Ванкувер и Сандвичевы острова, но и все суда, бросающие якорь у берегов Калифорнии. Он выращивает замечательные калифорнийские фрукты, которые славятся теперь во всем мире. Он выписывает виноградные лозы из Франции и с Рейна, они отлично принимаются здесь, и через несколько лет огромные пространства этой далекой земли покрылись виноградниками. Для себя он выстроил дом и благоустроенные фермы, его рояль марки Плейель проделал далекий стовосьмидесятидневный путь из Парижа, паровую машину из Нью-Йорка через весь континент везли шестьдесят волов. У него открытые счета в крупнейших банках Англии и Франции, и теперь, в сорок пять лет, на вершине славы, он вспоминает, что четырнадцать лет назад оставил где-то жену и трех сыновей. Он пишет им, зовет их к себе, в свое королевство, сейчас он чувствует силу в своих руках — он хозяин Новой Гельвеции, один из самых богатых людей на земле, — и так тому и быть. И, наконец, Соединенные Штаты отнимают у Мексики эту запущенную провинцию. Теперь уже все надежно и прочно. Еще несколько лет — и Зутер станет самым богатым человеком на свете.

РОКОВОЙ УДАР ЗАСТУПА

1848 год, январь. Неожиданно к Зутеру является Джемс Маршалл, его плотник. Вне себя от волнения он врывается в дом, — он должен сообщить Зутеру что-то очень важное. Зутер удивлен: только вчера он послал Маршалла на свою ферму в Колома, где строится новая лесопилка, и вот он вернулся без разрешения, стоит перед хозяином, не в силах унять дрожь, толкает его в комнату, запирает дверь и вытаскивает из кармана полную пригоршню песка — в ней блестят желтые зерна. Вчера, копая землю, он увидел эти странные кусочки металла и решил, что это золото, но все остальные подняли его на смех. Зутер сразу настораживается, берет песок, промывает его; да, это золото, и он завтра же отправится с Маршаллом на ферму. А плотник — первая жертва лихорадки, которая охватит вскоре весь мир, — не дождался утра и ночью, под дождем, двинулся обратно.

На другой день полковник Зутер уже в Колома. Канал запрудили, стали исследовать песок. Достаточно наполнить грохот, слегка потрясти его, и блестящие крупички золота остаются на черной сетке. Зутер подзывает немногих бывших с ним европейцев, берет с них слово молчать, пока не будет построена лесопилка. В глубокой задумчивости возвращается он на свою ферму. Грандиозные замыслы рождаются в его уме. Еще никогда не бывало, чтобы золото давалось так легко, лежало так открыто, почти не прячась в земле, — и это его земля,

Зутера! Казалось, десятилетие промелькнуло в одну ночь — и вот он самый богатый человек на свете.

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

Самый богатый? Нет, самый бедный, самый обездоленный нищий на этом свете. Через неделю тайна стала известна. Одна женщина — всегда женщина! — поведала ее какому-то прохожему и дала ему несколько золотых зерен. И тут случилось неслыханное — люди Зутера тотчас же бросили работу: кузнецы бежали от своих наковален, пастухи от своих стад, виноградари от своих лоз, солдаты побросали ружья — все, словно одержимые, наспех ухватив грохоты, тазы, кинулись туда, к лесопилке, добывать золото. В одну ночь край обезлюдел. Коровы, которых некому доить,дохнут, быки ломают загоны, вытаптывают поля, где на корню гниют посевы, остановились сыроварни, рушатся амбары. Замер весь сложный механизм огромного хозяйства. Телеграфные провода разнесли манящую весть о золоте через моря и земли. И уже прибывают люди из городов и гаваней, матросы покидают корабли, чиновники — службу; бесконечными колоннами тянутся золотоискатели с запада и с востока, пешком, верхами и в фургонах — рой людской саранчи, охваченный золотой лихорадкой. Разнузданная, грубая орда, не признающая иного права, кроме права сильного, иной власти, кроме власти револьвера, захлестнула цветущую колонию. Все было их собственностью, никто не осмеливался перечить этим разбойникам. Они резали коров Зутера, ломали его амбары и строили себе дома, вытаптывали его пашни, воровали его машины. В одну ночь Зутер стал нищим; он, как царь Мидас, захлебнулся своим собственным золотом.

И все неукротимее становится эта беспримерная погоня за золотом. Весть уже облетела весь свет; только из Нью-Йорка прибыло сто кораблей, из Германии, Англии, Франции, Испании в 1848, 1849, 1850, 1851 годах хлынули несметные полчища искателей приключений. Некоторые огибают мыс Горн, но нетерпеливым этот путь кажется слишком долгим, и они избирают более опасную дорогу — по суше, через Панамский перешеек. Одна предприимчивая компания спешно проводит там железную дорогу. Тысячи рабочих гибнут от лихорадки ради того, чтобы на три-четыре недели сократить путь к золоту. Через континент тянутся огромные потоки людей всех племен и наречий, и все они роются в земле Зутера, как в своей собственной. На территории Сан-Франциско, принадлежавшей Зутеру по акту, скрепленному правительственной печатью, со сказочной быстротой растет новый город; пришельцы по клочкам распродают друг другу землю Зутера, а само название его королевства «Новая Гельвеция» вскоре уступает место магическому имени: Эльдorado — золотой край.

Зутер, снова банкрот, словно в оцепенении смотрел на эти гигантские драконовы всходы. Поначалу он со своими слугами и компаньонами тоже пробовал добывать золото, чтобы вновь обрести богатство, но все покинули его. Тогда он уехал из золотоносного края поближе к горам, на свою уединенную ферму «Эрмитаж», прочь от проклятой реки и злосчастного песка. Там и нашла его жена с тремя уже взрослыми сыновьями, но она вскоре умерла, — сказались тяготы изнурительного пути. Все же теперь с ним три сына, у него уже не одна пара рук, а четыре, и Зутер снова взялся за работу; снова, но уже вместе с сыновьями шаг за шагом начал он выбиваться в люди, пользуясь баснословным плодородием этой почвы и вынашивая втихомолку новый грандиозный замысел.

ПРОЦЕСС

1850 год. Калифорния вошла в состав Соединенных Штатов Америки. Вслед за богатством в этом одержимом золотой лихорадкой крае водворился наконец порядок. Анархия обуздана, закон опять обрел силу.

И тут Иоганн Август Зутер выступает со своими притязаниями. Он заявляет, что вся земля, на которой стоит город Сан-Франциско, по праву принадлежит ему. Правительство штата обязано возместить убыток, который нанесен ему расхитителями его имущества; со всего

добытого на его земле золота он требует свою долю. Начался процесс такого масштаба, о каком еще не знало человечество. Зутер предъявил иск 17221 фермеру, поселившемуся на его плантациях, и потребовал, чтобы они освободили незаконно захваченные участки. С властей штата Калифорния за присвоенные ими дороги, мосты, каналы, плотины, мельницы он потребовал двадцать пять миллионов долларов в счет возмещения убытков; он требует двадцать пять миллионов долларов с федерального правительства и, кроме того, свою долю добытого золота. Старшего сына Эмиля он послал в Вашингтон изучать право, чтобы он вел дело: огромные доходы, которые приносят новые фермы, целиком уходят на разорительный процесс. Четыре года дело кочует из инстанции в инстанцию. 15 марта 1855 года приговор, наконец, вынесен. Неподкупный судья Томпсон, высшее должностное лицо Калифорнии, признал права Зутера на землю полностью обоснованными и неоспоримыми. В тот день Иоганн Август Зутер достиг цели. Он самый богатый человек на свете.

КОНЕЦ

Самый богатый? Нет и нет. Самый бедный, самый несчастный, самый неприкаянный нищий на свете. Судьба опять нанесла ему убийственный удар, который и подкосил его. Как только приговор стал известен, в Сан-Франциско и во всем штате разразилась буря. Десятки тысяч людей собирались в толпы — землевладельцы, которым угрожала опасность, уличная чернь, сброд, всегда готовый пограбить. Они взяли приступом и сожгли здание суда, они искали судью, чтобы линчевать его; разъяренная толпа задумала уничтожить все достояние Зутера. Его старший сын застрелился, окруженный бандитами, второго зверски убили, третий бежал и по дороге утонул. Волна пламени прокатилась по Новой Гельвеции: фермы Зутера преданы огню, виноградники растоптаны, коллекции, деньги расхищены, все его огромные владения с беспощадной яростью превращены в прах и пепел. Сам Зутер едва спасся. От этого удара он уже не оправился. Его состояние уничтожено, жена и дети погибли, разум помутился. Только одна мысль еще мерцает в его сознании: закон, справедливость, процесс.

И долгих двадцать лет слабоумный, оборванный старик бродит вокруг здания суда в Вашингтоне. Там уже во всех канцеляриях знают «генерала» в засаленном сюртуке и стоптанных башмаках, требующего свои миллиарды. И все еще находятся адвокаты, пройдохи, мошенники, люди без чести и совести, которые вытягивают у него последние гроши — его жалкую пенсию и подстрекают продолжать тяжбу. Ему самому не нужны деньги, он возненавидел золото, которое сделало его нищим, погубило его детей, разбило всю его жизнь. Он хочет только доказать свои права и добивается этого с ожесточенным упрямством маньяка.

Он подает жалобу в сенат, он предъявляет свои претензии конгрессу, он довернется разным шарлатанам, которые с большим шумом возобновляют это дело. Обрядив Зутера в шутовской генеральский мундир, они таскают несчастного, как чучело, из учреждения в учреждение, от одного члена конгресса к другому. Так проходит двадцать лет, с 1860 по 1880 год, двадцать горьких, нищенских лет. День за днем Зутер — посмешище всех чиновников, забава всех уличных мальчишек — осаждает Капитолий, он, владелец самой богатой земли на свете, земли, на которой стоит и растет не по дням, а по часам вторая столица огромного государства.

Но назойливого просителя заставляют ждать. И вот там, у входа в здание конгресса, после полудня, его настигает, наконец, спасительный разрыв сердца, служители торопливо убирают труп какого-то нищего, нищего, в кармане которого лежит документ, подтверждающий, согласно всем земным законам, права его и наследников его на самое большое состояние в истории человечества.

До сей поры никто не потребовал своей доли в наследстве Зутера, ни один правнук не заявил о своих притязаниях.

Поньше Сан-Франциско, весь огромный край, расположен на чужой земле, поньше попирается здесь закон, и только перо Блэза Сендрарса даровало всеми забытому Иоганну Августу Зутеру единственное право людей большой судьбы — право на память потомков.

Борьба за Южный Полюс

БОРЬБА ЗА ЗЕМЛЮ

Двадцатый век взирает на мир, лишенный тайн. Все страны исследованы, отдаленнейшие моря бороздят корабли. Области, еще поколение тому назад дремавшие в блаженной безвестности, наслаждаясь свободой, рабски служат теперь нуждам Европы; к самым истокам Нила, которых искали так долго, устремляются пароходы; водопад Виктория, впервые полвека тому назад открывшийся взору европейца, послушно вырабатывает электрическую энергию; последние дебри — леса Амазонки — порублены, и пояс единственной девственной страны — Тибета развязан.

На старых картах и глобусах слова «Terra incognita»⁴ исчезли под надписями сведущих людей, человек двадцатого века знает свою планету. Пытливая мысль в поисках новых путей уже принуждена спускаться к причудливым тварям морских глубин или возноситься в бескрайние просторы неба. Нехожеными остались лишь воздушные дороги, но уже взмывают в поднебесье, обгоняя друг друга, стальные птицы, устремленные к новым высям, новым далям, ибо решены все загадки и почва земного любопытства истощилась.

Но одну тайну земля стыдливо скрывала от человеческого взора вплоть до нашего столетия — два крошечных местечка своего истерзанного, изувеченного тела уберегла она от алчности собственных созданий. Северный и Южный полюсы, две почти не существующие, почти невещественные точки, два конца оси, вокруг которых она вращается тысячелетиями, она сохранила нетронутыми, незапятнанными. Ледяными громадами прикрывала она эту последнюю тайну, вечную зиму поставила на страже ее в защиту от людской жадности. Мороз и вихри властно заграждают вход, ужас и смертельная опасность отгоняют смельчаков. Лишь солнцу дано окидывать беглым взором эту твердыню, человеку же — не дозволено.

Десятки лет одна экспедиция сменяет другую. Ни единая не достигает цели. Где-то, в лишь недавно открытом ледяном хрустальном гробу, тридцать три года покоится тело шведского инженера Андре, храбрейшего из храбрых, того, кто хотел на воздушном шаре подняться над полюсом и не вернулся. Все попытки разбиваются о сверкающие ледяные стены. Тысячелетия, вплоть до наших дней, земля здесь скрывает свой лик, в последний раз победоносно отражая яростный натиск смертных. В девственной чистоте хранит она свою тайну от любопытного мира.

Но юный двадцатый век в нетерпении простирает руки. Он выковал в лабораториях новое оружие, изобрел новые доспехи; препятствия только разжигают его страсть. Он хочет знать всю правду, и уже первое его десятилетие хочет завоевать то, чего не могли завоевать тысячелетия. К мужеству отдельных смельчаков присоединяется соперничество наций. Не только за полюс борются они, но и за честь флага, которому суждено первому развеяться над новооткрытой землей; начинается крестовый поход всех племен и народов за овладение освященных пламенным желанием мест. На всех материках снаряжаются экспедиции. Нетерпеливо ждет человечество, ибо оно уже знает: бой идет за последнюю тайну жизненного пространства. Из Америки к Северному полюсу направляются Кук и Пири; на юг идут два корабля: один ведет норвежец Амундсен, другой — англичанин, капитан Скотт.

СКОТТ

Скотт — капитан английского флота, один из многих; его биография совпадает с послужным списком: добросовестно исполнял свои обязанности, чем снискал одобрение

⁴ Неизвестная земля (лат.)

начальников, участвовал в экспедиции Шеклтона. Ни подвигов, ни особенного геройства не отмечено. Его лицо, судя по фотографиям, ничем не отличается от тысячи, от десятка тысяч английских лиц: холодное, волевое, спокойное, словно изваянное затаенной энергией. Серые глаза, плотно сжатые губы. Ни одной романтической черты, ни проблеска юмора в этом лице, только железная воля и практический здравый смысл. Почерк — обыкновенный английский почерк без оттенков и без завитушек, быстрый, уверенный. Его слог — ясный и точный, выразительный в описании фактов и все нее сухой и деловитый, словно язык рапорта. Скотт пишет по-английски, как Тацит по-латыни, — неотесанными глыбами. Во всем проглядывает человек без воображения, фанатик практического дела, а следовательно, истый англичанин, у которого, как у большинства его соотечественников, даже гениальность укладывается в жесткие рамки исполнения долга. Английская история знает сотни таких Скоттов: это он покорил Индию и безыменные острова Архипелага, он колонизировал Африку и воевал во всем мире с той же неизменной железной энергией, с тем же сознанием общности задач и с тем же холодным, замкнутым лицом.

Но как сталь тверда его воля; это обнаруживается еще до совершения подвига. Скотт намерен закончить то, что начал Шеклтон. Он снаряжает экспедицию, но ему не хватает средств. Это его не останавливает. Уверенный в успехе, он жертвует своим состоянием и влезает в долги. Жена дарит ему сына, но он, подобно Гектору, не задумываясь, покидает свою Андромаху. Друзья и товарищи вскоре найдены, и ничто земное уже не может поколебать его волю. «Тетта Нова»⁵ называется странный корабль, который должен доставить его на край Ледовитого океана, — странный потому, что он, словно Ноев ковчег, полон всякой живности, и вместе с тем это лаборатория, снабженная книгами и тысячью точнейших приборов. Ибо в этот пустынный, необитаемый мир нужно везти с собой все, что требуется человеку для нужд тела и запросов духа, и удивительно сочетаются на борту предметы первобытного обихода — меха, шкуры, живой скот — с самым сложным, отвечающим последнему слову науки, оборудованием. И та же поразительная двойственность, что и корабль, отличает и само предприятие: приключение — но обдуманное и взвешенное, как коммерческая сделка, отвага — но в соединении с искуснейшими мерами предосторожности, точное предвидение всех деталей перед лицом непредвиденных случайностей.

1 июня 1910 года экспедиция покидает Англию. В эту летнюю пору англосаксонский остров сияет красотой. Сочной зеленью покрыты луга, солнце изливает тепло и свет на ясный, не омраченный туманом мир. С грустью смотрят мореплаватели на скрывающийся из глаз берег, ведь они знают, что на годы, быть может, навсегда прощаются с теплом и солнцем. Но вверху на мачте развевается английский флаг, и они утешают себя мыслью, что эта эмблема их мира вместе с ними плывет к единственному еще не завоеванному клочку покоренной Земли.

АНТАРКТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В январе они причаливают, после кратковременного отдыха в Новой Зеландии, у края вечного льда и сооружают дом для зимовки. Декабрь и январь считаются там летними месяцами, потому что это — единственное время в году, когда солнце несколько часов в день сияет на свинцово-белом небе. Стены дома сложены из бревен, как на стоянках прежних экспедиций, но внутри дома чувствуются веяние нового века, успехи нового века. Если раньше зимовщики сидели в полутьме, при коптящих, воняющих ворванью фонарях и с тоской глядели друг на друга, утомленные однообразием бессолнечных дней, то эти люди двадцатого столетия владеют в своих четырех стенах всем миром в миниатюре, всеми достижениями науки. Ацетиленовые горелки излучают яркий свет, киноаппарат воссоздает, словно по волшебству, пейзажи дальних стран, картины тропической природы, пианола воспроизводит музыку, граммофон — человеческий голос, библиотека предоставляет знания. В одной из комнат стучит

⁵ Новая земля (лат.)

пишущая машинка, в другой, темной — проявляют пленку и цветные фотографические снимки. Геолог испытывает радиоактивность минералов, зоолог обнаруживает новый вид паразитов у пойманных пингвинов, метеорологические наблюдения сменяются физическими опытами; всем участникам экспедиции поручена работа на время темных месяцев, и благодаря разумной системе личный опыт каждого становится общим достоянием. Ибо эти тридцать человек ежевечерне читают друг другу среди паковых льдов и полярной стужи университетские лекции, каждый силится передать свои знания другому, и в оживленном обмене мыслями расширяется их видение мира. Узкоспециальные науки не замыкаются в высокомерном одиночестве, а ищут понимания в совместном устремлении вперед. Затерянные в бескрайнем первобытном мире, вне времени и пространства, тридцать человек обмениваются между собой последними достижениями двадцатого века, и здесь, в этих стенах, люди не отстают ни на час, ни на секунду от движения мира. Трогательно читать, как эти суровые люди, ученые, радуются рождественской елке, забавляются шутками «South Pol Times»,⁶ издаваемого ими юмористического листка, как все малое — всплывший кит, поскользнувшаяся лошадь — превращается в событие и, с другой стороны, все непостижимо огромное — сполохи, лютый мороз, чудовищное одиночество — становится повседневным и привычным.

Между тем они отваживаются на небольшие вылазки. Они испытывают аэросани, учатся ходить на лыжах, дрессируют собак. Они готовят запасы для большого путешествия, но медленно, медленно обрываются листки календаря, и далеко еще до лета (до декабря), когда корабль проберется к ним сквозь паковый лед с письмами из дому. Но уже сейчас, в разгар зимы, они небольшими отрядами совершают для закалки короткие переходы, испытывают палатки, проверяют опыты. Не все удастся им, но препятствия лишь разжигают их пыл. Когда они, усталые и продрогшие, возвращаются на стоянку, их встречают радостными криками и теплом очага, и эта уютная хижина на семьдесят седьмом градусе широты после нескольких дней лишений кажется им лучшим в мире жилищем.

Но вот возвратилась с запада одна из экспедиций, и от принесенной ею вести в доме водворяется угрюмая тишина. В своих странствиях путники наткнулись на зимовку Амундсена, и внезапно Скотт понимает, что, помимо мороза и опасности, есть еще противник, который оспаривает у него первенство и может раньше его вырвать тайну строптивой земли. Он сверяет по карте; в записях его слышится тревога, с какой он обнаружил, что стоянка Амундсена на сто десять километров ближе к полюсу, чем его. Он потрясен, но не теряет мужества. «Вперед, во славу отчизны!» — пишет он горделиво в своем дневнике.

Это единственное упоминание об Амундсене в дневнике. Больше его имя не встречается. Но нет сомнений, что с того дня мрачная тень упала на одинокий бревенчатый дом во льдах и что это имя ежечасно, во сне и наяву, тревожит его обитателей.

ПОХОД К ПОЛЮСУ

В расстоянии мили от хижины на возвышении установлен наблюдательный пост. Там, на крутом пригорке, одиноко, точно пушка, наведенная на незримого врага, стоит аппарат для измерения первых тепловых колебаний приближающегося солнца. Целыми днями поджидают они его появления. На утреннем небе уже играют яркие чудесные отблески, но солнечный диск пока еще не подымается над горизонтом. Этот отраженный свет, предвещающий появление долгожданного светила, разжигает их нетерпение, и наконец в хижине раздается телефонный звонок, и с наблюдательного поста сообщают, что солнце взошло, впервые после многих месяцев оно подняло свою главу в полярной ночи. Его свет еще слаб и бледен, его лучи едва-едва согревают морозный воздух, едва-едва колеблются стрелки измерительного прибора, но один вид солнца — уже огромное счастье. В лихорадочной спешке снаряжается экспедиция, чтобы не потерять ни минуты этой короткой светлой поры, знаменующей и весну, и лето, и

⁶ «Южнополярная Таймс» (англ.)

осень, хотя по нашим умеренным понятиям это все еще суровая зима. Впереди летят аэросани. За ними нарты, запряженные собаками и сибирскими лошадками. Дорога предусмотрительно разделена на этапы; через каждые два дня пути сооружается склад, где оставляют для обратного путешествия одежду, продовольствие и самое важное — керосин, конденсированное тепло, защиту от нескончаемых морозов. Они выступают в поход все вместе, но будут возвращаться по очереди, отдельными группами, для того чтобы последнему маленькому отряду — избранникам, которым суждено завоевать полюс, — осталось как можно больше припасов, самые свежие собаки и лучшие нарты. План похода мастерски разработан, даже неудачи предусмотрены. И, конечно, в них нет недостатка. После двух дней пути ломаются аэросани, их бросают как лишний балласт. Лошади также не оправдали надежд, но на этот раз живая природа торжествует над техникой, ибо обессиленных лошадей пристреливают, и они дают собакам питательный корм, укрепляющий их силы.

1 ноября 1911 года участники экспедиции разбиваются на отряды. На снимках запечатлен этот удивительный караван: сперва тридцать путников, потом двадцать, десять и, наконец, только пять человек двигаются по белой пустыне мертвого первобытного мира. Впереди всегда идет один, похожий на дикаря, закутанный в меха и платки, из-под которых виднеются только борода и глаза; рука в меховой рукавице держит повод лошади, которая тащит тяжело нагруженные сани; за ним — второй, в таком же одеянии и такой же позе, за ним третий, двадцать черных точек, вытянувшихся извилистой линией по бескрайней слепящей белизне. Ночью они зарываются в палатки, возводят снежные валы для защиты лошадей от ветра, а утром снова пускаются в однообразный и безотрадный путь, вдыхая ледяной воздух, впервые за тысячелетия проникающий в человеческие легкие.

Трудности множатся. Погода стоит хмурая, вместо сорока километров они покрывают иногда лишь тринадцать, а между тем каждый день драгоценен, с тех пор как им известно, что кто-то невидимо для них продвигается по белой пустыне к той же цели. Любая мелочь грозит опасностью. Сбежала собака, лошадь отказывается от корма — все это вызывает тревогу, потому что в этом одиночестве обычные ценности приобретают иное, новое значение. Все, что помогает сохранить человеческую жизнь, драгоценно, незаменимо. От состояния копыт одной лошади зависит, быть может, слава; облачное небо, пурга могут помешать бессмертному подвигу. К тому же здоровье путников ухудшается; одни страдают снежной слепотой, у других отморожены руки или ноги; лошади, которым приходится уменьшать корм, слабеют день ото дня, и, наконец, в виду глетчера Бирдмора, силы окончательно изменяют им. Тяжкий долг умерщвления этих стойких животных, ставших за два года совместной жизни вдали от мира друзьями, которых каждый знал по имени и не раз награждал ласками, должен быть исполнен. «Лагерем бойни» назвали это печальное место. Часть экспедиции отправляется в обратный путь, остальные собирают все силы для последнего мучительного перевала через глетчер, через грозный вал, опоясывающий полюс, который может одолеть лишь жаркое пламя человеческой воли.

Все медленнее продвигаются они, ибо наст здесь неровный, зернистый и нарты приходится не тянуть, а тащить. Острые льдины прорезают полозья, ноги изранены от ходьбы по сухому, льдистому снегу. Но они не сдаются: 30 декабря достигнут восемьдесят седьмой градус широты, крайняя точка, до которой дошел Шеклтон. Здесь последний отряд должен вернуться, только пяти избранным дозволено идти к полюсу. Скотт отбирает людей. Никто не осмеливается перечить ему, но всем тяжело так близко от цели поворачивать обратно и уступить товарищам славу первыми увидеть полюс. Но выбор сделан. Еще раз пожимают они друг другу руки, мужественно скрывая волнение, и расходятся в разные стороны. Два маленьких, едва заметных отряда двинулись — один к югу, навстречу неизвестности, другой к северу, на родину. Те и другие много раз оглядываются, чтобы еще в последнюю минуту ощутить живое присутствие друзей. Вот уже скрылся из виду отряд возвращающихся. Одиноким продолжают путь в неведомую даль пять избранных: Скотт, Бауэрс, Отс, Уилсон и Эванс.

ЮЖНЫЙ ПОЛЮС

Тревожнее становятся записи в эти последние дни; они трепещут, как синяя стрелка компаса, приближаясь к полюсу. «Как бесконечно долго ползут тени вокруг нас, выдвигаясь вперед с правой стороны, потом опять ускользая налево!» Но отчаяние сменяется надеждой. Все с большим волнением отмечает Скотт пройденное расстояние: «Еще только сто пятьдесят километров до полюса; но если не станет легче, мы не выдержим», — пишет он в изнеможении. Через два дня: «Сто тридцать семь километров до полюса, но они достанутся нам нелегко». И вдруг: «Осталось всего лишь девяносто четыре километра до полюса. Если мы и не доберемся, мы все же будем до черта близко!» 14 января надежда становится уверенностью. «Только семьдесят километров, мы у цели». На следующий день — торжество, ликование; почти весело пишет он: «Еще каких-нибудь жалких пятьдесят километров; дойдем, чего бы это ни стоило!» За душу хватают эти лихорадочные записи, в которых чувствуется напряжение всех сил, трепет нетерпеливого ожидания. Добыча близка, руки уже тянутся к последней тайне земли. Еще один последний бросок — и цель достигнута.

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЯНВАРЯ

«Приподнятое настроение» — отмечено в дневнике. Утром они выступают раньше обычного, нетерпение выгнало их из спальных мешков; скорее, скорее увидеть своими глазами великую грозную тайну. Четырнадцать километров проходят в полдня по бездушной белой пустыне пятеро неустрашимых: они веселы, цель близка, подвиг во славу человечества почти свершен. Внезапно беспокойство охватывает одного из путников — Бауэрса. Горящим взором впивается он в едва заметную точку, чернеющую среди необъятных снежных просторов. У него не хватает духа высказать свою догадку, но у всех сердце сжимается от страшной мысли: быть может, это дорожная веха, поставленная человеческой рукой. Они силятся рассеять свои страхи. Пытаются уверить себя — подобно Робинзону, который, заметив на необитаемом острове чужие следы, внушал себе, что это отпечатки его собственных ног, — что они видят трещину во льду или, быть может, какую-то тень. Дрожа от волнения, подходят они ближе, все еще стараясь обмануть друг друга, хотя все уже знают горькую правду: норвежцы, Амундсен опередил их.

Вскоре последняя надежда разбивается о непреложный факт: черный флаг, прикрепленный к поворотному шесту, развевается над чужой, покинутой стоянкой; следы полозьев и собачьих лап рассеивают все сомнения — здесь был лагерь Амундсена. Свершилось неслыханное, непостижимое: полюс Земли, тысячелетиями безлюдный, тысячелетиями, быть может, с начала начал, недоступный взору человеческому, — в какую-то молекулу времени, на протяжении месяца открыт дважды. И они опоздали — из миллионов месяцев они опоздали на один-единственный месяц, они пришли вторыми в мире, для которого первый — все, а второй — ничто! Напрасны все усилия, нелепы перенесенные лишения, безумны надежды долгих недель, месяцев, лет. «Все труды, все лишения и муки — к чему? — пишет Скотт в своем дневнике. — Пустые мечты, которым теперь настал конец». Слезы выступают у них на глазах, несмотря на смертельную усталость, они не могут уснуть. Уныло, в угрюмом молчании, точно осужденные, делают они последний переход к полюсу, который надеялись так победно завоевать. Никто никого не пытается утешить; безмолвно бредут они дальше. 18 января капитан Скотт со своими четырьмя спутниками достигает полюса. Надежда первым совершить подвиг уже не ослепляет его, и он равнодушным взглядом оценивает безотрадный ландшафт. «Ничего для глаза, ничего, что бы отличалось от ужасающего однообразия последних дней» — вот все, что написано о полюсе Робертом Ф. Скоттом. Единственное, что останавливает их внимание, создано не природой, а вражеской рукой: палатка Амундсена с норвежским флагом, спесиво развевающимся на отвоеванной человечеством крепости. Они находят письмо конкистадора к тому неизвестному, кто вторым ступит на это место, с просьбой переслать его норвежскому королю Гакону. Скотт берет на себя исполнение тягчайшего долга: свидетельствовать перед человечеством о чужом подвиге, которого страстно желал для себя.

Печально водружают они «опоздавший английский флаг» рядом со знаменем победы Амундсена. Потом покидают «место, предавшее их надежды», — холодный ветер дует им вслед. С вешим предчувствием пишет Скотт в своем дневнике: «Страшно подумать об обратном пути».

ГИБЕЛЬ

Возвращение сопряжено с удесятеренной опасностью. Дорогу к полюсу указывал компас. Теперь, на обратном пути, самое главное — не потерять собственного следа, и это в течение многих недель, чтобы не уклониться в сторону от складов, где их ждет пища, одежда и тепло, заключенное в нескольких галлонах керосина. И тревога охватывает их каждый раз, когда снежный вихрь застилает глаза, ибо один неверный шаг равносителен смерти. К тому же нет уже прежней бодрости; выступая в поход, они были заряжены энергией, накопленной в тепле и изобилии их антарктической родины.

И еще: стальная пружина воли ослабла. В походе к полюсу их окрыляла великая надежда осуществить заветную мечту всего мира; сознание бессмертного подвига придавало им нечеловеческие силы. Теперь же они борются только за спасение своей жизни, за свое брэнное существование, за бесславное возвращение, которого они в глубине души, быть может, скорее страшатся, чем желают.

Тяжело читать записи тех дней. Погода все ухудшается, зима наступила раньше обычного, рыхлый снег под подошвами смерзается в опасные ловушки, в которых застревает нога, мороз изнуряет усталое тело. Поэтому так велика их радость каждый раз, когда после многодневных блужданий они добираются до склада; вспыхнувший огонек надежды звучит в их словах. И ничто не говорит красноречивее о героизме этих людей, затерянных в необъятном одиночестве, чем то, что Уилсон даже здесь, на волосок от смерти, неустанно продолжает свои научные наблюдения и к необходимому грузу своих нарт прибавил шестнадцать килограммов редких минеральных пород.

Но мало-помалу человеческое мужество отступает перед натиском природы, которая беспощадно, с тысячелетиями закаленной силой обрушивает на пятерых смельчаков все свои орудия уничтожения: мороз, пургу, пронизывающий ветер. Давно изранены ноги; урезанные пайки и только один раз в день принимаемая горячая пища уже не могут поддержать их силы. С ужасом замечают товарищи, что Эванс, самый сильный, внезапно начинает вести себя очень странно. Он отстает от них, беспрестанно жалуется на действительные и воображаемые страдания; из его невнятных речей они заключают, что несчастный, вследствие ли падения, или не выдержав мук, лишился рассудка. Что же делать? Бросить его в ледяной пустыне? Но, с другой стороны, им необходимо как можно скорее добраться до склада, иначе... Скотт не решает начертать это слово. В час ночи 17 февраля несчастный Эванс умирает на расстоянии однодневного перехода от того «Лагеря бойни», где они впервые могут насытиться благодаря убитым месяц тому назад лошадям.

Вчетвером они продолжают поход, но злой рок преследует их; ближайший склад приносит горькое разочарование: там слишком мало керосина, а это значит, что нужно скупно расходовать горючее — самое насущное, единственно верное оружие против мороза. После ледяной вьюжной ночи они просыпаются, обессиленные, и, с трудом поднявшись, тащатся дальше; у одного из них, у Отса, отморожены пальцы ног. Ветер становится все резче, и 2 марта на очередном складе их снова ждет жестокое разочарование: снова слишком мало горючего.

Теперь уже страх слышится в записях Скотта. Видно, как он пытается подавить его, но сквозь нарочитое спокойствие то и дело прорывается вопль отчаяния: «Так дальше продолжаться не может», или: «Да хранит нас бог! Силы наши на исходе!», или: «Игра наша кончается трагически», и, наконец: «Придет ли провидение нам на помощь? От людей нам больше нечего ждать». Но они тащатся дальше и дальше, без надежды, стиснув зубы. Отс все сильнее отстает, он обуза для своих друзей. При полуденной температуре в 42 градуса они вынуждены замедлить шаг, и несчастный знает, что он может стать причиной их гибели.

Путники уже готовы к худшему. Уилсон выдает каждому по десять таблеток морфия, чтобы, в случае необходимости, ускорить конец. Еще один день они пытаются вести с собой больного. К вечеру он сам требует, чтобы его оставили в спальном мешке и не связывали свою судьбу с его судьбой. Все решительно отказываются, хотя отдают себе полный отчет в том, что это принесло бы им облегчение. Еще несколько километров Отс тащится на отмороженных ногах до стоянки, где они проводят ночь. Утром они выглядывают из палатки: свирепо бушует пурга.

Внезапно Отс подымается. «Я выйду на минутку, — говорит он друзьям. — Может быть, немного побуду снаружи». Их охватывает дрожь, каждый понимает, что значит эта прогулка. Но никто не решается удержать его хоть словом. Никто не решается протянуть ему руку на прощание, все благоговейно молчат, ибо знают, что Лоуренс Отс, ротмистр Эннискилленского драгунского полка, героически идет навстречу смерти.

Трое усталых, обессиленных людей тащатся дальше по бесконечной железно-ледяной пустыне. У них нет уже ни сил, ни надежды, только инстинкт самосохранения еще заставляет их передвигать ноги. Все грознее бушует непогода, на каждом складе новое разочарование: мало керосина, мало тепла. 21 марта они всего в двадцати километрах от склада, но ветер дует с такой убийственной силой, что они не могут выйти из палатки. Каждый вечер они надеются, что утром сумеют достигнуть цели, между тем припасы убывают и с ними — последняя надежда. Горючего больше нет, а термометр показывает сорок градусов ниже нуля. Все кончено: перед ними выбор — замерзнуть или умереть от голода. Восемь дней борются трое людей с неотвратимой смертью в тесной палатке, среди безмолвия первобытного мира. 29-го они приходят к убеждению, что уже никакое чудо спасти их не может. Они решают ни на шаг не приближаться к грядущему року и принять смерть гордо, как принимали все, выпавшее им на долю. Они забираются в свои спальные мешки, и ни единый вздох не поведал миру об их предсмертных муках.

ПИСЬМА УМИРАЮЩЕГО

В эти минуты, наедине с незримой, но столь близкой смертью, капитан Скотт вспоминает все узы, связывавшие его с жизнью. Среди ледяного безмолвия, которого от века не нарушал человеческий голос, в часы, когда ветер яростно треплет тонкие стены палатки, он проникается сознанием общности со своей нацией и всем человечеством. Перед его взором в этой белой пустыне, словно марево, возникают образы тех, кто был связан с ним узами любви, верности, дружбы, и он обращает к ним свое слово. Коченеющими пальцами капитан Скотт пишет, в смертный час пишет письма всем живым, которых он любит.

Удивительные письма! Все мелкое исчезло в них от могучего дыхания близкой смерти, и кажется, что они наполнены кристально чистым воздухом пустынного неба. Они обращены к людям, но говорят всему человечеству. Они написаны для своего времени, но говорят для вечности.

Он пишет жене. Он заклинает ее беречь сына — его драгоценнейшее наследие, — просит предостеречь его от вялости и лени и, совершив один из величайших подвигов мировой истории, сознается: «Ты ведь знаешь, я должен был заставлять себя быть деятельным, — у меня всегда была склонность к лени». На краю гибели он не раскаивается в своем решении, напротив — одобряет его: «Как много мог бы я рассказать тебе об этом путешествии! И насколько это все же лучше, чем сидеть дома, среди всяческих удобств».

Он пишет женам и матерям своих спутников, погибших вместе с ним, свидетельствуя об их доблести. На смертном одре он утешает семьи своих товарищей по несчастью, внушая им собственную вдохновенную и уже неземную веру в величие и славу их героической гибели.

Он пишет друзьям — со всей скромностью по отношению к себе, но преисполненный гордостью за всю нацию, достойным сыном которой он чувствует себя в свой последний час. «Не знаю, был ли я способен на большое открытие, — признается он, — но наша смерть послужит доказательством тому, что мужество и стойкость еще присущи нашей нации». И те слова, которые всю жизнь не давали ему произнести мужская гордость и душевное целомудрие,

эти слова теперь вырывает у него смерть. «Я не встречал человека, — пишет он своему лучшему другу, — которого бы я так любил и уважал, как Вас, но я никогда не мог Вам показать, что для меня означает Ваша дружба, потому что Вы так много давали мне, а я ничего не мог дать Вам взамен».

И он пишет последнее письмо, лучшее из всех — английскому народу. Он считает своим долгом объяснить, что в борьбе за славу Англии он погиб не по своей вине. Он перечисляет все случайные обстоятельства, ополчившиеся против него, и голосом, которому близость смерти придает неповторимый пафос, призывает всех англичан не оставлять его близких. Его последняя мысль не о своей судьбе, его последнее слово не о своей смерти, а о жизни других: «Ради бога, позаботьтесь о наших близких». После этого — пустые листки.

До последней минуты, пока карандаш не выскользнул из окоченевших пальцев, капитан Скотт вел свой дневник. Надежда, что у его тела найдут эти записи, свидетельствующие о мужестве английской нации, поддерживала его в этих нечеловеческих усилиях. Омертвевшей рукой ему еще удастся начертать последнюю волю: «Перешлите этот дневник моей жене!» Но в жестоком сознании грядущей смерти он вычеркивает «моей жене» и пишет сверху страшные слова: «Моей вдове».

ОТВЕТ

Неделями ждут зимовщики в бревенчатой хижине. Сначала спокойно, потом с легким беспокойством, наконец, с возрастающей тревогой. Дважды выходили на помощь экспедиции, но непогода загоняла их обратно. Всю долгую зиму проводят оставшиеся без руководства полярники на своей стоянке; предчувствие беды черной тенью ложится на сердце. В эти месяцы судьба и подвиг капитана Роберта Скотта скрыты в снегу и молчании. Лед заключил их в стеклянный гроб, и только 29 октября, с наступлением полярной весны, снаряжается экспедиция, чтобы найти хотя бы останки героев и завещанную ими весть. 12 ноября они достигают палатки: они видят замерзшие в спальных мешках тела, видят Скотта, который, умирая, братски обнял Уилсона, находят письма, документы; они предают погребению погибших героев. Простой черный крест над снеговым холмиком одиноко высится в белом просторе, где навеки похоронено живое свидетельство героического подвига.

Нет, не навеки! Неожиданно их деяния воскресают, свершилось чудо техники нашего века! Друзья привозят на родину негативы и пленки, их проявляют, и вот снова виден Скотт со своими спутниками в походе, видны картины полярной природы, которые, кроме них, созерцал один лишь Амундсен. По электрическим проводам весть о его дневнике и письмах облетает изумленный мир, английский король в соборе преклоняет колена, чувствуя память героев. Так подвиг, казавшийся напрасным, становится животворным, неудача — пламенным призывом к человечеству напрячь свои силы для достижения доселе недостижимого: доблестная смерть порождает удесятеренную волю к жизни, трагическая гибель неудержимое стремление к уходящим в бесконечность вершинам. Ибо только тщеславие тешит себя случайной удачей и легким успехом, и ничто так не возвышает душу, как смертельная схватка человека с грозными силами судьбы — эта величайшая трагедия всех времен, которую поэты создают иногда, а жизнь — тысячи и тысячи раз.